

ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

## А ЕГО УЖЕ НЕТ...

*(о Василии Белове)*

Я жил далеко, и потому мне не достались то случайные (но частые), то непременно встречи с писателями, которые были родственны моей душе, с которыми хорошо и уютно куда-то ехать, сидеть в зале или на пирушке, гулять по старинной усадьбе или по городу. Теперь в старости я о такой многолетней потере жалею особенно, только это и осталось, потому что время исчезло, ничто не повторится, да и многих моих друзей-писателей уже нет на земле.

Жалею я и о том, что мало бывал на русском Севере, в той же Вологде. В моём скоросшивателе с газетными вырезками хранится сообщение: плеяда русских писателей (их потом назовут “деревенщиками”) собралась как-то во главе с А. Яшиным и дружно поплыла по Сухоне до Великого Устюга и ещё куда-то. Помню, я эти строчки в “Литературной России” прочитал с обидой: как же это я лишился счастья присутствовать в такой родной компании?! Поздние мои впечатления на вологодских просторах и показанные мне недавно фотографии того плавания только усилили мои прежние представления о северной стороне. Ещё катера и пароходики гудели сигналами на великой Сухоне, деревни были погуще людьми, простоты было побольше, писатели ещё не стали знаменитыми и в энциклопедии пока не попали. Все главные книги ещё не написаны и все съезды писателей в Кремле и в Доме Союзов, где прозвучит столько разных речей и будет возможно потолкаться в коридорах и посудачить обо всем, впереди. Я запросто буду здороваться с автором повести “Привычное дело” и хвастаться ему, что впервые запомнил его фамилию из-за его повести “Деревня Бердяйка”. Я прочитаю рассказ Евгения Носова “За лесами, за долами” о беловской Тимонихе, рассказ самого Белова “За тремя волоками” в том тёмно-зелёном томе, который он мне подарит, задолго до печатания эпопеи о крестьянстве прочту главы о деревне, похожей на Тимониху, затем, когда буду на Новый 1977 год в Вологде, Василий Иванович вдруг вскрикнет: “Давай я свожу тебя в Тимониху!” (но не удастся), затем ещё будем мы с Распутиным и Крупиным загадывать, как бы нам отважиться и попариться в беловской баньке. Позднее сколько раз звал туда и на свою дачу (поблизости от Тимонихи) Анатолий Заболоцкий, да сколько юбилеев (больших и малых) протекло, да, наконец, в Краснодаре на выездном писательском пленуме Василий Иванович при гробовой тишине горько признался благополучным казакам, что в его Тимонихе осталось... три жителя. И я, мечтая о дальней скорбной глуши, об избе Анфисы Ивановны, всё, однако, отодвигал и удлинял навеянный срок.

И только в 2011 году узнал я дорогу, по которой ходил и ездил Василий Иванович...

Ещё ближе и понятней мне стал Белов, когда по той же дороге повёз меня в Тимонику Михаил Карачёв через грустные нелюдные деревни. Сиротское молчание полей, огородов, улиц, дворов, угадывание тоскливой тишины в избах, величавая отдалённость от суетного тесного мира, мысли об отчуждённости российских вельмож от народных переживаний воскрешали мне горестные страницы прозы Василия Ивановича, его разговоры в узком кругу, его речи с высоких трибун, постоянную душевную заботу о благополучии родной стороны.

“Так вот где ты, Вася, ходил в Харовск, поближе и подальше, — говорил я ему в ту комнату, где он лежал на постели или сидел в коляске, — вот под каким северным сводом чувствовал ежеминутно и небеса, и лес, обитание в лесу зверья и даже мышку полевую. И как матушка твоя Анфиса Ивановна пробиралась тут на телеге по ухабам и ямам, в дождь и в жару, а я-то, хоть и вырастал возле коровьей стайки, но всё же на краю города и бегал через Обь в театры, такого одиночества под небом не переживал. Какая благодать одиночества... На сотни вёрст. Изо дня в день. Но и какая сиротливая печаль, которая самих чутких благословляет прикинуть к художественному обзору бытия. Всё дышит и звучит Божеским созерцанием”.

То же таинственное течение слов рождала моя душа в Тимонике.

“Так вот этот дом... Вот из каких окон глядел он на траву, на снег... А это кухня. И кадка. И печка. И здесь вы, Василий Иванович, жили с сестрёнкой и братом, без отца. Я жил потеснее, у нас таких северных хором с сеновалом и прочим не было. Как здорово... И не московские же архитекторы проектировали, сами крестьянские мастера, а как всё разумно, крепко, богатырски. И где ж ты, Вася, стихи-то первые писал? “Привычное дело” за каким столом начинал? А у этого окна на улицу Анфиса Ивановна и выглядывала тебя, а ты откуда-то из-за границы или из Москвы долго не показывался на дороге. Э-эх, как тонко тут отзываются Русь наша, Россия, Север великий... Хочется ещё раз перечитать все книги про Север. Ну, Василий Иванович, поругай меня, что я раньше не проведал Тимонику. Сейчас выпью за широким столом под твоим портретом, маслом кем-то написанным. Миша Карачёв стихи свои почитает”.

Сожалею теперь, что не позвонил тогда по сотовому телефону Василию Ивановичу в Вологду, любые слова его теперь пришлось бы в моих воспоминаниях как раз...

Было странно и печально, что мы ходим по его дому, крестьянскому деревянному дворцу, без него, он лежит в городской квартире или, когда кто-то близкий зайвится, выезжает к столу в коляске. Без него я поднимаюсь в самую верхнюю комнату и хоронюсь там надолго, так что меня уже испуганно стали искать по всему дому и вокруг него: куда пропал? Не передать мне, каким северным вековым эхом, словно озоновым ароматом, дышала моя душа, как я почувствовал лишний раз беловское родство с каждой травинкой, как позавидовал я, что ему вложено, завещано было корневое почвенное наследие, а я всё-таки полугородской, полудеревенский, оттого и легковесный какой-то, неполноценный в своём писании. А задержался я из-за тоненьких журналов царского времени, прочитал случайные строчки и уже не мог оторваться, прямо породнился завистливо с теми, о ком писалось: “Пока хозяин не щёлкнет ложкой по краю блюда, никто не берёт из щей накрошенной говядины”, “...высокая трава, обилие цветов, тысячи комаров и все весенние звуки, начиная с соловьиной трели и кончая боем перепелов, дёрганьем коростеля и унылым криком кукушки...”

Я сидел, ходил, обглядывал углы так удивлённо, как и в усадьбах Пушкина, Лермонтова, Есенина, как в высоких избах музея под открытым небом под Вологодой: вот как жили... Между тем я ещё думал, что Василий Белов томится сейчас в Вологде.

Анатолий Заболоцкий сводил меня в сторонку от деревни, туда, где белый храм и могила Анфисы Ивановны.

— Боже мой, — сказал я и Заболоцкому, и себе, и, кажется, всему миру живому, — да почему же всё так скоро кончается? Моей матери нет со мной двенадцать лет. Лежит в Тамани.

В 1970 году, когда приезжал обмыывать переселение В. Астафьева в Вологду из Перми, Белов после гулянки забрал меня ночевать к себе, и вот тогда белесая Анфиса Ивановна, расспросив меня о матери, робко посоветовала: “Береги её хорошенько”.

В 1976 году мне запомнилось мгновение на берегу реки, там, где теперь скамейка с бронзовым баяном и стихами Рубцова. Мы родственно и старомодно говорили о русских государях, о том, как Иоанн Грозный чуть не перенёс столицу в Вологду, пожалели убиенную последнюю на Русской земле царскую семью, даже сблизились теснее, чем были до этого, будто благословил нас кто на такое ветхое родство, совсем утерянное после революции. Такие минуты дарил мне только Олег Михайлов в Москве и в Коктебеле.

В декабре он обеспечил мне своим влиянием покупку желанной дублёнки, которую я протаскал потом лет двадцать. Я задержался в городе на новогоднюю ёлку.

“Один год жизни — это так мно-ого, — ответил Василий Иванович 31 декабря на моё поздравление по телефону. — Год... его ещё надо прожить...”

Простую вроде бы истину я тревожно запомнил как предостерегающую мудрость.

И вот приспел 80-летний юбилей прикованного к одру болезни писателя. Опасаясь, что в будущем мне дороги в Вологду не проложить, я поехал поздравить Василия Ивановича и в сокровенной тайне проститься с ним. Что ж, не надеюсь уже на своё благополучие и твёрдые ноги. Поеду.

В Москве уселись в вагон немалой гурьбой. Выпили, заговорили про то же русское, что и всегда. Опять пеленалось в душе чувство сиротства, ненужности ветреному обществу, властям. В доме Пашкова (при Российской библиотеке) уж чересчур скромно и буднично, без участия высоких государственных мужей, без “сливок культуры” отмечалось 80-летие того В. Белова, который, как и В. Шукшин, Ф. Абрамов, Е. Носов, В. Распутин, не перевёртывался во время заговоров, а оставался с русским народом. Всё русское почему-то смущает верхи, нет открытого всегласного признания тысячелетних заповедей, верности родным колодцам и праведным обрядам; некоторые русские знаменитости боятся засветиться в кругу резких отважных единоверцев и исповедуются в братстве натихую. Постное поздравление президента считывали с какой-то тетрадки (так, по крайней мере, показалось), и я подумал, что его, наверно, вообще сочинили второпях и президенту не показали. Но на трапезе родство своё мы нашли, постояли друг возле дружки без всякой оглядки, обнялись душой, поговорили о Василии Ивановиче, опавшем в постель уже надолго. В большое широкое окно проглядывался Кремль, его угловая башня, все архитектурные узоры, и от давнишнего его вида, от мгновенных пролётных воспоминаний о царях и боярах душу как-то заветно щемило, и она, душа-то русская, ещё тоньше благодарила всех, кто умел во всякую пору воспеть и хранить отчину.

Поехали в Тимонику на большом автобусе, заглянули в Харовск на руководящий приём, затем повторилась для меня вчерашняя (прошлогодняя) дорога мимо высоких, опять таких скорбящих изб, полей по бокам, мимо застоившегося нетронутого одиночества вокруг.

Я попросил Мишу Карачёва прочитать что-нибудь своё. Он долго отказывался.

— Ещё черновое:

*Это зыбкое время земное  
Не удержит меня на земле.  
Всё прощается. Таёт родное,  
Стынут печи в забытом жильё...*

Дальше он читать не стал; мы подъезжали.

“Здравствуй, Тимониха”, — сказал я про себя, увидев табличку с названием на правой стороне. Поворотили налево, чуть поднялись — тотчас завиднелся тёмный дом Василия Ивановича.

“А его с нами нет, — кольнуло меня. — Он в Вологде лежит на низкой постели. Наверное, думал, как “они едут уже, видимо, в Тимонихе бабы всё приготовили, угостят...”

Северянки ждали на кухне с улыбкой.

Длинный стол был накрыт руками женщин из ближней Азлы. Мужья строго и смиренно сидели в углу, помогали, видать, кое в чём с утра. Всё во мне ныло сожалением. Жизнь прошла. Не будет того, что за этими окнами и по дальним околицам переливалось из века в век. Не приедет сюда больше Василий Белов, не сядет на лавку, не заснёт под голосок сверчка. Тяжело ему двигаться. Вологда приневолила его на несчастье. В родной избе и болеть было бы легче. Теперь эти углы будут обходить все, кроме него и Анфисы Ивановны. Я видел её два раза, и она сразу стала мне такой же, как мои родные тётки и двоюродные сёстры, как соседи. В сибирской повести я нечаянно дал матушке своей имя Физа (Анфиса). Эту повесть Вася показывал матери. Он и мою матушку видел в Пересыпи в постели. Мы ехали в Тамань и вернулись в посёлке на улицу Чапаева.

Всё это пережитое, носимое памятью, кружилось мошками возле меня до самого вечера. Заглядывал ли я в баньку, спускался ли вниз к глухим падам, глядел ли на землячек писателя, молча стоявших за нашими столами и с улыбкой на нас глядевших, слушал ли северные песни в исполнении Владимира Личутина, читал ли журнал “Охота” в верхней светёлке — всё тоненько преследовало меня одним и тем же сожалением: “А Василия Ивановича за столом с нами нет...”

В прошлую осень елецкие мои друзья, проводники в бунинские пенаты, Александр и Владимир, забрали меня в Ясной Поляне, и мы мимо Москвы поехали на машине в Вологду. В путевую тетрадь я заносил названия селений: Зверинцы, Сандырёво, Звонкая, Заболотье, Пречистое, Любим, Обнорская слобода, Талица. Всё русское, давнишнее, намекающее на то, какими были целые века. И закралась между названиями запись: “Облака над мелколесьем, серый денёк, машины снуют по дороге, песни по радио, и мы втроем спели “На тропе” (на слова Николая Палькина, уже покойного). И когда пели, вспомнилось, как пели на те же слова, возвращаясь из Тимонихи:

*На тропе,  
На тропинке, луной запорошенной,  
Были встречи у нас горячц,  
Не ходи,  
Не ходи ты за мною, хороший мой,  
И в окошко моё не стучи...*

— А их уже нет, — прокричал я обиженно. — Слышите, елецкие? Нет их! Ни Белова. Ни Распутина. Ни Палькина Николая Егоровича. Это его слова. Из Саратова он.

Как он радовался, уже больной, умирающий, когда я ему сказал, что мы были у Белова, и вот распеваем с умилением твою песню, Николай Егорович, милый наш волгарь. Я послал ему потом видеодиск с нашим пением, ты же помнишь, Александр Васильевич, как мы приехали вечером, и в Союзе писателей на Комсомольском, в кабинете у Котькало, где по стенам портреты Эрика Сафонова, Юрия Селезнёва, Серёжи Лыкошина, Вали Распутина, ты с дочкой Лыкошина Анечкой пел под баян, а я снимал “на цифру” и что-то лопотал про Палькина. Это теперь сохранится навсегда. Надеюсь. По-моему, я и Распутина показывал. “На тропе, на тропинке, луной запорошенной...” Она стала народной. Да, да, братцы мои, мы пели в сумерках в пустом Союзе писателей, только что прибыли с вокзала в этот родной “дом колхозника”, где всегда у Ганичева можно обогреться и даже переспать на потёртом кожаном чёрном диване, прошли в кабинет по коридору, где тоже на стене масляный портрет Белова, и опять было грустно, что он обречённо болеет в Вологде, не топчется с нами, как бывало, и мы только что прощались с ним, позавчера обедали, вчера гуляли в его честь в Тимонихе, и вот одни в этой великой и чужой Москве, спасибо Анечке, что встретила нас и лихо подвезла на своей машине (её голые кончики пальцев в прорезях перчаток я ещё опишу), и мы не выпили, но запели Палькина, стали звонить ему. А их уже нету. Как грустно. Всё меньше нас. Мы всё-таки, как ни крути, одной плеяды. Кто крупнее, кто пониже, попроще, но закваска одна: сельская, почвенная, сиротско-русская. Феликс Кузнецов (сам из Тотьмы) на съезде писателей в Орле

назвал это поколение... последним. Вот так. Плакальщики (так терзает их Палиевский). Будут другие. Или их не будет вовсе. Европа чадом пролезет в душу. Зверинцы, Обнорская слобода, Заболотье... И этого не будет. Уже в Тимонихе некому выглядывать на дорогу, ждать (читали Васин рассказ "Зов родины"?). Едем нынче, а Белова в Вологде уже нет. Тоскливо. И сколько тоскует родимых мест!.. Но не вернутся к гнездам хоть на денёк великие дети. Не появится в Сростках В. Шукшин, в Верколе – Ф. Абрамов, на Старом Арбате и в Абрамцево – Ю. Казаков, в Алепине – В. Солоухин, во Владимире – С. Никитин, на канале Грибоедова в Петербурге – Г. Горышин, в Аталанке – В. Распутин... И пойду я завтра по улицам Вологды, стану там, где мы говорили с Василием Ивановичем в семьдесят шестом-то году (в самый разгар "развитого социализма") о... дочерях Государя, о наследнике цесаревиче, жалели их, материли всех троцких и свердловых, постою у памятника Батюшкову, потрогаю коленку бронзовой музы, куплю в память о Белове плетёную большую корзинку, полюбуюсь речною дугою и церковью на том берегу и проеду к Спасо-Прилуцкому монастырю, где сперва хотели положить Василия Ивановича, коснусь рукой острой ограды на могиле Батюшкова, поеду в музей деревянного зодчества, и всё буду думать, что в доме на улице Октябрьской, где вроде совсем недавно терпеливая Ольга Сергеевна выдерживала наши долгие "вечные речи", а Василий Иванович мельком спросил о Тамани и Пересыпи, теперь странная музейная пустота, что "и придут времена, и исполнятся сроки", и мои годы тоже уже оседают на горизонте. Всё уже живёт без Белова. Через десять минут будем въезжать в Вологду, и скорбь сама напросится на уста. С кем я старомодно и по-домашнему поговорю о монархии? И живёт ли тут хоть один русский человек, который любит родственно беседовать о великих князьях, о государе Иоанне Грозном, в какой раз жалеть невинных царских дочерей и наследника, как умел этим жить и сочувствовать писатель, родившийся позже в маленькой северной деревеньке Тимонихе...